

ЦЕННОСТИ

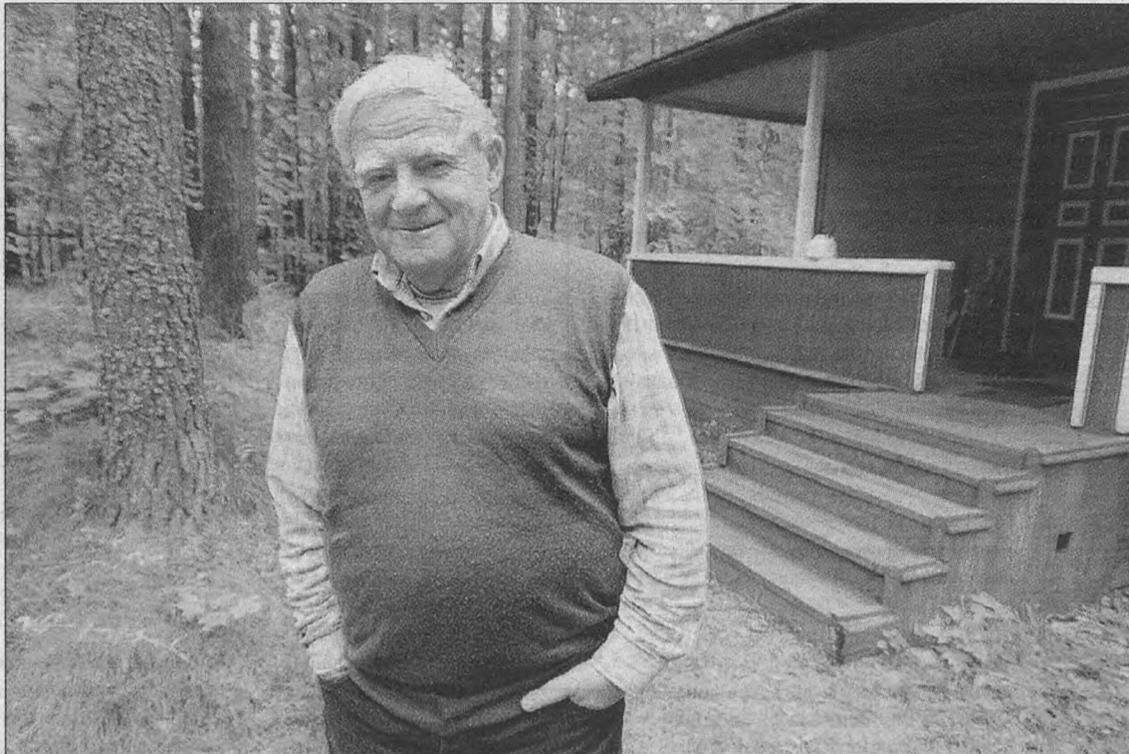
Ольга МАРТЫНЕНКО

Окончание. Начало на стр. 09

— У вас есть этому объяснение?

— Не желаю никаких объяснений! Не может быть никаких объяснений абсолютной дремучести и предрассудков. И нежелание обанкротившихся мужчин уступить свою власть.

Возьмите соседнюю Финляндию: президент — женщина, министр обороны — женщина. Нормально, а ведь у нас больше половины населения женщины. Если мы действительно хотим решать проблему демографии, это легче и лучше будет сделать, если и в регионах ею будут заниматься женщины. Пора же понять, что это бескультурье, когда в огромной стране женщины совершенно исключены из управления в верхнем эшелоне. Это первобытное явление, которое сохранилось только в России.



Дело писателя — удивляться

Даниил Гранин: «Что делать интеллигенции, когда ее роль кончилась»

— В вашем «Петре Великом» так много переключек с нашим временем, что хотелось бы упомянуть еще одну. Меня просто рассмешило, что открытым окном в Европу пользовались, чтобы переправлять через него капиталы. С коррупционерами царь не церемонился.

— Да, борьба со взятками велась радикальными методами, которые отчасти давали результаты, отчасти нет. Трудно судить, насколько эти ссылки и даже казни помогли. Думаю, они не оставались без последствий, но искоренить зло не могли. Что его может искоренить, я не знаю. У нас никто по-настоящему этим не занимается, это проблема и психологическая, и экономическая, и юридическая, но это и культурная тоже.

— Вы как-то говорили, что в нашей крепостной стране не было уважения к чужой частной собственности. Сохранились крепостные гены, мы — страна крестьянской культуры. Главный поставщик ее талантов и недостатков — крестьяне.

— Правильно. У меня детство связано с деревней, и хочу вам напомнить, что сельская жизнь была примером честности. Двери не запирали. В деревне не было такого воровства, как в городе. Даже в бедной деревне честность ценилась. Воровство было слишком заметно.

— Крестьяне были верующие, и, видимо, у них, как и у академика Лихачева, существовала система заповедей.

— Но у православия не было большой силы. К священникам, к церковным службам относились не лучшим образом. Церковь преследовали при всех режимах. Вы думаете, колокола сбрасывали только коммунисты? При большом участии народа это происходило.

— Ничего не остается, как сослаться на ваши слова о готовности русского человека подставить голову под хомут, а спину под розги. Уже большевистские.

— Я не знаю, чем это объясняется, но мы виноваты во многом в своей истории. И в частности, в истории советской жизни.

— Мы — это кто?

— Мы все. Без исключения.

— Вы же неоднократно писали, что человек не раскрыт до конца, слишком много в нем перемешано: и малодушие, и страх, феномену которого посвящена специальная ваша работа.

— Человек — это тайна. В Италии было несколько покушений на Муссолини. В Германии были покушения на Гитлера. На Сталина не было.

— Но все же были скованы страхом.

— Что значит страхом?

— Боялись.

— Чего?

— Смерти.

— А во время войны смерти не боялись? И в Гражданскую войну вели себя достаточно смело. Как и во время Великой Отечественной. А когда началась мясорубка 1937 года, а потом послевоенная, Ленинградское дело, в частности, не нашлось никого, кто бы поднял голос протеста, а это все были люди, прошедшие тяжелые испытания, достаточно мужественные и храбрые.

— Недаром же говорят, что человеку легче пойти в атаку, чем возражать начальству.

— Не знаю. Вот я доложу вам: дело писателя — не давать объяснений, дело писателя — удивляться, разводить руками. Как писал Герцен, мы не врачи, мы боль. Я удивляюсь, я признаюсь в непонимании. Я рад, между прочим, что я добрался до непонимания.

— Даниил Александрович, скоро исполнится 65 лет с начала войны, которую вы прошли, отказавшись от брони, с первого дня до последнего. Написали «Блокадную книгу», немало рассказов о войне. Один из них о том, как вы идете по Ленинграду с немецким

летчиком, который бомбил город. А сравнительно недавно вас наградили немецким орденом.

— Да, офицерским крестом. Хотите покажу?

— Конечно. А мы немцев награждали своими орденами? Или для нас они по-прежнему враги?

— Мы до сих пор не дошли до толстовского понимания войны. В литературе эту тему почти не разрабатывали. Только «Сашка» Кондратьева. Мы были ослеплены ненавистью к фашизму, мы не сумели его отде-

Пора же понять, что это бескультурье, когда в огромной стране женщины совершенно исключены из управления в верхнем эшелоне

лать от немецкого солдата. Когда я стрелял в немца, для меня это была только мишень. Отчасти это было естественно, потому что нам так заморочили голову перед войной: то проклиная фашизм, то целуясь с Риббентропом. В этом ералаше все критерии были запутаны. Мы всех называли фашистами, все должны были уничтожены. Они были для нас оккупантами. Но и для Толстого французы были оккупантами, однако он в нравственном отношении гораздо выше нас. Пьер Безухов все-таки понимал, что перед ним люди. Подневольные люди. У него не было той ненависти, как у нас. Толстой умел осознать эту моральную проблему: французские солдаты тоже несчастные люди, тоже кричат от боли, когда ранены, и умирают, думая не о прославлении Наполеона, а о своих близких.

— Время ушло писать о войне?

— Время не ушло. Война — такая же тема, как и все остальные. Может быть, еще что-то успею написать.

— Скоро вам предстоит определять лауреатов премии «Большая книга». Верите вы в особую миссию литературы?

— Трудно ответить. Я, конечно, верю, что смысл ее существования проявляется лишь тогда, когда она что-то исповедует, чего-то хочет, что-то может раскрыть в человеке, о чем-то сказать, поделить болью, недоумением, непониманием. То, что сегодня творится с массовой культурой, не ново. Это всегда было, но сегодня она проглотила читателя. Мой читатель ушел. Денег у него на книги нет, наука, которой занимались мои герои, сегодня низведена на положение никому

не нужного предмета. Но я все-таки верю, что литература вернется, должна вернуться. Книга обладает особым преимуществом. Это преимущество — интимность. История не бывает плохой или хорошей. То, что происходит сегодня с книгой, тоже часть истории культуры. Книга останется, я сужу по тому, как она живет за рубежом. Живет.

— Какова сегодня роль интеллигенции? Она отошла от участия в развитии общества. Что ей осталось?

— В конце 80-х — начале 90-х была дань романтике, романтическому периоду истории, когда казалось, что интеллигенция что-то может сделать. Не жалею об этом периоде, многое не удалось, но это было красиво. Интеллигенция — замечательное российское сословие. Она очень много сделала хорошего, а те, кто кричит против интеллигенции, кто они такие? Ленин говорил, что интеллигенция — это говно. А кто он был?

— Интеллигент. Худо-бедно.

— Интеллигенция — принадлежность тоталитарного режима. Сейчас она как функция кончилась, но интеллигенция всегда была

неким музыкальным ключом, струной. Какова ее роль сегодня? Мы не знаем, куда идем, что строим. Говорят, не обязательно иметь цель в жизни, надо просто жить. Но мы привыкли что-то строить, куда-то идти. Я не знаю, на какое будущее мы рассчитываем. Знаю, что надо избавить людей от коммунальных квартир, от нищенского жалованья. Но этого мало. Когда мы говорим о культуре, мы вынуждены констатировать очень неприятное явление. Культуру могут потреблять только богатые люди. Чтобы посмотреть с семьей памятники культуры или пойти на премьеру, нужны немалые деньги. Это ненормально, неправильно.

— Придется ждать, когда страна разбогатеет, нефти будет еще больше, воровать не будем.

— Вот это ужасная фраза. Ею пользуются все наши чиновники. Когда люди получают квартиры, мы займемся культурой. А культура — вещь непрерывная, а не фазовая. Разве в советское время страна была богаче — ответьте мне? Почему же она давала возможность студенту бывать в филармонии, в театре, ездить запросто в Петергоф? Почему я тогда мог покупать книги? А сейчас мы богатые, продаем столько нефти, а я никуда не могу поехать. Для кого это богатство? Если это дурная культурная политика, как вы говорите, то эта дурная страна. Но я хочу спросить всех: почему мы так плохо живем? При дурной советской власти сразу после войны, когда город был еще разрушен, было издано постановление, по которому сразу стали восстанавливать исторические пригороды Ленинграда.

— Одновременно с постановлением о Зощенко и Ахматовой.

— Оно касалось больше политики, чем культуры.

— Когда-то вы писали о своем городе, что был синдром страха сменился синдромом безвкусицы и провинциализма. Вы по-прежнему так считаете?

— Да, считаю. После Ленинградского дела (весь ужас которого

состоял в том, что не было сформулировано — в чем люди виноваты), местное начальство хотело стать как все. Все ощущали, что это дело продиктовано просто ненавистью вождя к городу, который во время блокады обходился без него. За самостоятельность, за волю. Поэтому следующие начальники старались не высовываться, не выделяться, быть, как все областные центры, не более того.

— Позвольте мне сравнить нынешние Москву и Петербург. У нас нет таких прекрасных зданий, великолепных ансамблей, но есть ощущение живой, даже бурной жизни. А здесь, за исключением центра, прежняя неухоженность.

— Вы не имеете права на такие сравнения. Бюджет Москвы не сопоставим с бюджетом Петербурга. В течение 70 или 80 лет Ленинград держали на нищенском пайке. Но у каждого явления есть две стороны. И вот, с другой стороны мы сохранили исторические ценности почти нетронутыми. Я вижу перемены, постороннему глазу это незаметно. Размах сравнительно небольшой. Денег нет.